

А всё началось с телефонного звонка. В понедельник позвонил бывший одноклассник, друг детства, и сообщил, что двадцать третьего апреля, в пятницу, будет отмечаться семидесятилетие школы, которую мы окончили тридцать девять лет назад, соберутся выпускники всех лет, хорошо бы увидеться.

Ни на одном из прежних юбилеев я не был, казалось бы, всё и вся забыл, а тут и засвербило, и потянуло на воспоминания, просто спасу нет, тянет и тянет, да ещё с такими подробностями, подумать только, столько лет прошло, а разволновался как школьник.

Накануне пятницы объявили штормовое предупреждение, и под утро разразилась самая настоящая буря. За окном сверкало, гремело и лило как из ведра, шиферное железо на крыше гаража ходило ходуном, полоскало по ветру космы берёз, переломило надвое липу у соседей напротив, и она чуть было не легла на электрические провода, хотя свет и так потух.

И по мере того как за окном разыгрывалась буря, во мне самом

откуда-то из самого «далёка» подымалась буря.

Я лежал без сна, с открытыми глазами, и временами не слышал, что творилось вокруг.

Наконец не выдержал, поднялся, отыскал в книжном шкафу среди кип потрёпанных журналов старый фотоальбом и убрался на кухню. Школьных фотографий оказалось немного. Первый, второй, седьмой классы, окончание десятого, последний звонок и выпускной вечер – не густо. И почти на всех снимках – наша первая учительница Анна Ивановна. Когда задают вопрос, за что мы любим первую учительницу, обыкновенно отвечают, за то, мол, что была она такая внимательная, такая добрая, такая отзывчивая, и всё это – то, да не то: мы любим первую учительницу за то, что она первая.

Интересно, жива ли, и, если жива, сколько ей теперь – восемьдесят два-три?

На фотографии первого класса, сделанной на фоне школьного сада, выражения лиц у большинства хмурые («домой хочу-у», «где мама?»), у некоторых гримасы,

и только двое на шутку фотография улынулись. Девочки в белых фартуках, мы в гимназической форме с белыми воротничками, без фуражек. Сосчитал – тридцать девять учеников. Вот это класс!

Из первых лет учёбы помню лишь отдельные эпизоды. И в первую очередь – прописи в букваре, такими они казались необыкновенными, словно написанными каким-то волшебником. Даже у Анны Ивановны, когда писала задание в наших тетрадях, такими великолепными они не получались. У нас и подавно, хотя были, наверное, и пятёрки в тетрадях самых прилежных учениц. Из мальчиков, по-моему, никто не блистал в чистописании.

Парты тогда были не прямыми и не серыми, а наклонными и чёрными, с откидывающимися низами. Прямой была только верхняя узкая доска с двумя утопленными чернильницами-проливайками, а были ещё – непроливайки, в основном домашние, и, если такую чернильницу уронить, содержимое не проливалось. В те же, что находились на партах, дежурные перед уроками наливали из бутылки чернила. За ночь они, как правило, высыхали, и хотя были фиолетовыми, усыхая, отсвечивали болотной зеленью. Для ручек и карандашей рядом с чернильницами были выдолблены овальные углубления.

Во всех тетрадях имелись красные промокашки, из-за клякс быстро терявшие свою первозданную красоту. А вот бумага была отвратительная, серая, шершавая, постоянно цепляющаяся за железное перо, а уж если примет кляксу, то обязательно развезёт до форменного безобразия и непременно испортит настроение. Писать таки-

ми перьями, да ещё на такой бумаге было настоящей мукой. Стоило неосторожно выйти из нажима, и перо, зацепив волокно, все старания сводило на нет. А надо было писать не абы как, а красиво, без клякс и помарок, почему предмет и назывался чистописание.

В старших классах писали авторучками, которые тоже надо было заправлять чернилами и почти каждый день промывать, поскольку, засыхая, чернила не хотели плавно поступать на перо и либо не писали, либо пускали кляксы.

По неискущённости своей дети доверчивы, поэтому до пятого класса были мы как бы на одно лицо: в одинаковой форме, у мальчиков чёлки, у девочек косички с бантиками, сначала прилежно носим октябратские звёздочки, затем пионерские галстуки, учим одинаковые стихотворения, поём одни песни («Орлёнок, Орлёнок, взмахни опереньем...»), у нас общий идол – Ленин, и, следуя его «святому» завету, мы не лазаем в общественный сад не только за вишней, но даже за китайкой, которую у нас и за яблоки-то не считали.

О космонавтике, по-моему, и говорить не стоит. Кто из нашего поколения не бредил ею, не мечтал стать космонавтом, чтобы полететь на Луну, на которой тогда побывал один Незнайка, или к краснокожим, недоразвитым (а то бы сами давно прилетели) марсианам? И я всё, помнится, недоумевал, как они там, на Марсе, могут жить, когда всё вокруг – вода, трава, листья, цветы, овощи, фрукты – красное, и вдобавок ко всему кровавые у всех зубы и глаза? Нет, не хотел бы я жить на Марсе.

Поскольку тогда мы свято верили, что Бога выдумали пите-

кантропы «от страха к грозе», вера в Него представлялась нелепой и смешной, а все её последователи необразованными невеждами. Попадались, правда, среди них люди неглупые – Пушкин, Гоголь, Достоевский, например, – но и они казались немножко недотянувшими, поскольку, сами посудите, жили при свечах, ездили на лошадах, ничего не знали про синхрофазотроны...

Помню игру в молодогвардейцев. Штаб находился в бывшем курятнике нашего сарая – метров двенадцать квадратных клетушка с потолком, полом, на который девчата для уюта постелили старенький домотканый половик, а на маленькое оконце повесили занавеску. Мы с ребятами из старых досок сколотили стол, лавку. Из фанерного почтового ящика и медной проволоки соорудили рацию для связи с Москвой. Ульяной Громовой единогласно избрали самую боевую и разговорчивую из нас, Валю Мокееву, а по школьному Кешу, дочь учительницы (не нашей, а на класс или на два старшей). Мне за кучерявость досталась роль Олега Кошевого. Но чего в пику фадеевскому роману мы не могли допустить, так это сбросить себя в шахты, поскольку в отличие от молодогвардейцев не оказалось у нас предателя (никто не захотел быть), а значит, были мы неуловимы, но ради справедливости – не неуязвимы, и всякий раз по возвращении с опасного задания девчата перевязывали наши раненые головы и поили замечательной колодезной водой (раненые же всегда просят пить: «сестра, воды») и кормили чудесным хлебом из глины. Поджигать обычно ходили соседние сараи (немецкие склады с боепри-

пасами), зато под откос пускали уже настоящие поезда (в километре от штаба проходила железная дорога на Москву), так что ни один вражеский поезд к столице нашей Родины не прорвался. Другие подробности помню смутно. Зато хорошо помню, когда нас выследили, мы ушли в партизаны и в нашем ельнике, куда зимой ходили кататься на лыжах, полдня копали землянку. Но таким это оказалось тяжким занятием, что глубже метровой, полтора на полтора, ямы одолеть нам так и не удалось. И уже ничего не оставалось, как только вернуться к мирной жизни.

В связи с этой историей припоминается инсценировка о войне. В светлом коридоре старой деревянной школы накидали на пол сена и устроили что-то вроде партизанского лагеря. Девчата в раздобытых где-то гимнастёрках и пилотках кружком сидели у декоративного костра, над которым висел котелок, и пели военные песни. Представлялась этакая романтика войны. Мы даже не задумывались о том, что война – это мухи, вьющиеся над смердящими трупами, оторванные ноги и руки, море вшей, грязь, болезни, иначе – такое, что нельзя передать словами, невозможно изобразить, и даже сами фронтовики охотно бежали от пережитых ужасов в романтический вымысел киношных и детских постановочных войн. А если подумать, даже порежь палец, когда разнесёт, ведь белый свет не мил. А тут – пуля, дай Бог, если навывлет, а то и засядет, или осколком снаряда срежет кисть руки, разворотит живот, оторвёт ногу на mine, обожжёт до неузнаваемости лицо в горящем танке. Всё это я понял

гораздо позже, хотя, может быть, и раньше, глядя на инвалидов Великой Отечественной, догадывался, почему не показывают в кино и не пишут на полотнах ужасы войны. Даже в военной кинохронике их в меру – как демонстрация зверств нацизма. А покажи всё, как есть, ни в кинозале не высидишь, ни дома картину такую не повесишь. Это уже потом, позже появятся выставки с изображением инвалидов Великой Отечественной, сначала голливудское, а затем и наше натуралистическое кино.

Моё поколение ещё застало инвалидов войны, собиравших подавание в пригородных поездах и на базарах – на каталках, на протезах, с гармониями, балалайками. Потом они куда-то исчезли. Куда именно – никто не знал и вопросом таким не задавался. Ну, исчезли и исчезли. Неумолимое время стирало из памяти ужасы недавней войны, запрещалось (или не смели?) показывать их в кино, изображать на полотнах, описывать в литературе. Короче, запрещался весь тот натурализм, который, подобно помоям, обрушится на неподготовленного зрителя и читателя в девяностые.

По сравнению с другими, были мы, наверное, всё же поколением счастливым, которому достались в удел всего лишь остров Даманский («На Усури под солнцем тает

лёд. / Зима сгустила голубые краски./ Под лёд ушёл семидесятый год /– тех, кто погиб на острове Даманском») да взбунтовавшаяся Чехословакия, младшим братьям пострашнее – Афганистан, детям ещё более отвратительная по причине повального предательства – Чечня. Что достанется внукам – не ведаю.

Ещё припоминаю, как на одном из школьных утренников Кеша прочла забавное стихотворение, которое, наверное, поэтому осталось в памяти.

У меня трусы в горошек –
хороши да хороши!
Все мальчишки приставают:
покажи да покажи!
Ну, а ты, большой дурак,
что не приставаешь?
У меня трусы в горошек –
разве ты не знаешь?

Но ещё более вдохновенно в старших классах, разумеется, читала популярные в те годы стихотворения слепого Асадова («Парень со спортивной фигурой. / И девчонка – робкая душа...»), «Они студентами были, они друга любили...») По рукам ходили затрёпанные книжечки сборников его стихотворений. Тёмные очки придавали его поэзии нечто романтическое.

II

Здание школы было построено в 1940 году, а до этого учились в поповском, как его у нас называли, доме. Одно время, до строительства деревянного, где потом устраивали наши танцевальные вечера, там был спортзал, затем библи-

отека. Когда я пошёл в первый класс, рядом со школой находился детский дом. Потом в это одноэтажное деревянное здание перевели начальную школу. Помню детдомовцев. Точнее, всего один эпизод. Кто-то в ужасе крикнул:

«Детдомовцы!» И я увидел, как из дверей детского дома вывалилось несколько высоченных разухабистых парней, в рубашках нараспашку. Это была настоящая гроза всей местной шпаны.

Посёлок, где находилась школа, был соседним с нашим и в первые годы учёбы казался краем географии. Это уже потом мы станем ходить сюда не только для того, чтобы «пускать под откос вражеские поезда», но и плющить на рельсах гвозди, для изготовления ножицков, кататься на поручнях электричек. Точнее, всего один раз я провисел одну остановку. Как удержался – не знаю, но пальцы готовы были в любую минуту расцепиться. И, наконец чуть живым ступив на платформу, на первой же электричке вернулся назад. Друг преданно ждал меня на платформе, а подстрекатели успели убраться восвояси – мы, дескать, если что, ни при чём. Уж эти подстрекатели! Уже не первый раз они подбивали и подло бросали меня во время походов за скороспелкой в совхозный сад, на гороховое поле, во время катания со стогов на соломе, всякий раз, завидя объездчика, не предупредив, незаметно исчезая, а я по-прежнему рабски тянулся к ним, как тянется к взрослой компании всякий подросток. Это лишь в песне поётся, что «школьные годы чудесные», на самом деле, это далеко не так.

Вряд ли этапами нашего взросления можно считать табеля успеваемости. Были тогда такие коричневатые складные открытки из картона, с пятью столбиками успеваемости – четыре четверти, годовой итог и в самом низу отметка по «поведению». В младших классах, практически, у всех – примерное. Поэтому только с пятого или

даже с шестого класса, когда мы узнали, что такое второгодники, в нас стало проявляться то, что принято называть характером. Проявлялся он помимо и даже вопреки тому, что на протяжении многих лет методически сеяли в наши души. Я не о знаниях, а о так называемом долге. Все же тогда были перед любимой Родиной и Партией в долгу. Октябрята, пионеры, комсомольцы – все должны были быть честными, принципиальными, непримиримыми, верными, целеустремлёнными... И во всём этом торжественно клялись. В стенах школы, на уроках, пионерских собраниях, слётах, митингах из говорильных дырок всё вроде бы правильно говорилось, и никто с этим даже и спорить не собирался, но стоило выйти за пределы школы или зайти в мужской туалет, не только из говорильных дырок и носа, но даже из ушей некоторые ловкачи умудрялись табачный дым пускать. Писали или царапали на стенах и дверях неприличнейшие слова, связанные с собственным происхождением (никаких аистов и капусты!), играли в трясучку на деньги, безжалостно расстреливали невинных пташек из рогаток, разоряли сорочки гнёзда, топили в норах полевых мышей, вели перестрелку бузиной из осиновых трубочек на переменах, подкладывали друг другу кнопки на сиденья парт, кропили чернилами уши впереди сидящих одноклассников с помощью расчёски и пера, и даже вместо уроков, сидя на замызганных портфелях в совхозном саду, играли в свару на деньги. Всё это считалось взрослой жизнью. И тех, кто не желал в ней участвовать, презирали, дразнили маменькиными сынками и даже били. Касалось это в основном нас,

мальчишек. Девчонки жили своей отдельной жизнью. Разумеется, со всем этим безобразием боролись – осуждали, порицали, ставили на вид, выводили к доске, вызывали родителей, отсылали к директору школы, стыдили, оставляли на второй год, грозили детской колонией, старались хоть чем-нибудь занять. Кому-то помогало, кому-то не очень, а кому-то на всё это было глубоко наплевать. И только после восьмого класса, когда наконец схлынули все эти неучи и хулиганы, нас перестали делить на учеников из благополучных и неблагополучных семей.

В те годы мир, рисуемый школьными учебниками, средствами массовой информации, кинематографом, большинству из нас представлялся таким чистым и светлым (во всяком случае, его будущая ипостась), что хамы воспринимались, как нечто пещерное, недоразвитое и отсталое. Не так уж и много их было (большинство просто подпадало под дурное влияние, и лишь единицы росли в соответствующей обстановке), но именно они, хамы, и задавали тон поведения в подростковом периоде. «Не ходи к ним, не дружи с ними» – мы слышали это от своих родителей постоянно. Родители не понимали, что не ходить и не дружить – означало ни больше ни меньше как сидеть дома и не высывать носа на улицу, а больше

ходить было некуда. В подростковый период, казалось, вообще без общения с ними нельзя было шагу ступить. И стоило прикоснуться, не столько затягивало, сколько давало тем повод и даже право считать тебя им обязанным. От этих прав и обязанностей страдало в основном среднее школьное звено, и только в старших классах наступала относительная свобода.

Тогда было принято считать, что человек с детства призван готовить себя к какой-нибудь общественно полезной деятельности (ты кем хочешь стать? а ты кем будешь?), на самом же деле все готовятся только к созданию семьи. Ни одну работу нельзя любить больше женщины, а значит – семьи. И с самого детства девочки, например, готовятся к тому, как её обустроить, мальчики – как прокормить и защитить, и в то время, когда первые нянчат и кормят кукол, вторые – воюют, летят, едут, девчата в играх больше сидят, мальчишки – вечно куда-то мчатся. Совместные игры, как правило, сопровождаются любопытством к противоположному полу. Вопреки мнению взрослых дети рано начинают понимать назначение полов (надписи в школьных туалетах тому порукой). С возрастом любопытство усиливается и, переходя в обоюдный стыд, начинает кружить голову и возбуждать вполне определённые желания.

III

С этой минуты, на мой взгляд, си надо бы отсчитывать время нашего взросления.

Происходило оно у всех по-разному, и моё началось в старшем отряде пионерского лагеря,

куда нас с двоюродным братом Сеней, моим ровесником, отправляли несколько лет подряд под присмотр работавшей воспитателем тёти Таи, Таисии Петровны. В тот год мы окончили седьмой класс,

старший нас на пять лет двоюродный брат Женя, сын тётки Таи, – автомеханический техник и по распределению готовился к отъезду на Сахалин. О старшем брате я упомянул не случайно. Думаю, всякому прошедшему школу дворовой жизни понятно, что такое старший брат. И хотя подзатыльники и пинки он отвешивал нам порой весьма чувствительные и учил далеко не одному добру, тем не менее был единственной опорой и защитой. Характера же был горячего, на месте сидеть не мог и даже по лесу, собирая грибы, носился как лось, не угонишься. И нам, малышам, не раз приходилось проходить испытание на прочность в полуторакилометровом пути до станции железной дороги, и дорогу эту я запомнил на всю жизнь. Натаскивал нас брат и в беге сначала на короткие, а потом на длинные дистанции, заставлял качаться гантелями, эспандером и, если кто-нибудь начинал упрямиться, удалял от своей светлости увесистым пинком или трескучим подзатыльником, а поскольку это было равнозначно выбросу за борт корабля, приходилось смиряться. Несмотря на свою видимую расхлябанность, брат никакого отношения к уличной шпане не имел, хотя как безотцовщина вполне мог бы, но держала в ежовых рукавицах тётка Тая. Помню, как после окончания восьмого класса, когда брат пришёл домой «с запахом», тетушка отвесила ему увесистую оплеуху, и на моё удивление брат скулил в ванной комнате, как сопливый щенок. Теперь, надеюсь, понятно, почему наши родители со спокойной душой каждое лето отправляли нас в пионерский лагерь.

Однако тётка за нами не очень следила, считая маленькими, и мы, частенько уходя за территорию лагеря, шатались по огромному сосновому лесу и наслаждались безграничной свободой – тянули кислый дым самокруток из дубовых листьев (гаванские сигары!), жгли костры, потрошили вдоль трассы телефонный кабель, выкусывая зубами разноцветные провода для радиоловительских целей. И если по дороге в лагерь в автобусе следом за всеми нехотя пели: «Ах, картошка, объеденье, денье, денье, денье, / Пионеров идеал, ал, ал. / Тот не знает наслажденья, денья, денья, денья, / Кто картошки не едал, дал, дал», бредя по лесу, дружно выводили: «Как всегда, мы до ночи стояли с тобой. / Как всегда, было этого мало. / Как всегда, позвала тебя мама домой – / Я метнулся к вокзалу». Поскольку стоять, да ещё до ночи, нам было рановато, исполнялось всё это в виде хохмы, и, чтобы скрыть друг от друга стыд вполне определённых желаний, мы, как идиоты, выкрикивали на весь лес конец припева – «Ээй!» – и ржали как жеребцы. Далее этого дурацкого смеха комментарию не простирались. О том, что нам нравилась наша вожатая, не произносилось вообще. Была она старше года на три, с ответной на всякую шутку улыбкой, обнажившей крепкие зубы, задорная, общительная, способная даже на ладан дышащего расшевелить.

Но вот однажды приехал Женя – с надменностью в глазах, ворот рубашки стоечкой, что называется, увидел – и, уж не знаю каким образом, мы очутились в лесу вчетвером. И это бы ничего, и более многочисленные толпы по лесу бродят, да посмел, видите ли, при

людях, то есть при нас, пусть хоть и брательник, положить нашему идолу левую руку на плечи, правая при этом незаметно махала в районе таза кому-то ладошкой – сваливайте, мол. Мы непонимающе оглядывались – кому это он знаки подаёт, вроде никого тут из посторонних нет, только свои? И, с недоумением пожимая плечами, естественно, никуда сваливать не собирались, даже после того, как длань превратилась в кулак. И долго немолчный стрёкот кузнециков и завораживающее пение птиц сопровождало наше торжественное шествие, пока, наконец, не пришли в лагерь, после чего обнаружить нас брату не удалось, но и совершить плохой поступок – тоже.

Тётушка, сама того не подозревая, подогревала наше воображение, довольно живописно пересказывая содержание романа «В щупальцах спрута» – о женщине, полюбившей американского шпиона. Как это почему? Да потому, что, в отличие от «наших деревенщин», был он «таким галантным кавалером, с хорошими манерами», водил «бедную женщину» в ресторан, дарил цветы – это шпион-то, враг заклятый! – а тётушкин взгляд заволакивался мечтательной грустью. Мы нетерпеливо торопили: «А дальше, дальше?» И хотя происходило это, практически, каждый вечер и все перипетии сюжета мы знали наизусть, всё равно просили: «Таисия Петровна, а расскажите, пожалуйста...» И тогда начиналось. При-

ходили девчата из-за перегородки, усаживались на наши кровати, и все, затаив дыхание, слушали.

Для старших отрядов по воскресным вечерам устраивали танцы на низкой деревянной, ничем не огороженной площадке под аккордеон. Сеня хотя и был, по сравнению со мной, городским, но с девчатами ужасно застенчивым. Немногим отличался от него и я, и, тем не менее, отважился однажды пригласить девочку, в светленьком коротеньком платьице, на «медленный танец». Была она одного со мною роста или чуть повыше, тогда как большинство девочек были выше меня, тогда коротышки, чуть не на полголовы. Долго, помнится, не мог решиться, а потом всё-таки как во сне подошёл и пригласил. Девочка была не из нашего отряда, светловолосая, голубоглазая, с таким же, как у меня, выражением изо всех сил скрываемого чувства гордости и стыда на окаменелом лице. Я едва держал её за талию, она насквозь прожигала ледяными пальцами через рубашку мою хилую грудь. Мы неумело покачивались из стороны в сторону в такт музыки, больше всего на свете боясь глянуть друг другу в глаза. Только после того, как окончился танец, я подумал, что надо же было спросить, как её зовут. Пригласить же на второй танец или подойти познакомиться я не отважился бы ни за что на свете. И долго потом мечтал о том, что, когда вырасту, обязательно разыщу её и на ней женюсь.

Следующим этапом взросления был выпускной вечер у брата Сени и мой первый поход на Нижегородский откос с его восьмым «бэ» классом. Тогда была в моде только что исполненная Татьяной Дорониной песня «Я мечтала о морях и кораллах...», и её, не переставая, пели под гитару по дороге туда и обратно. Пели и «ес ту дэй», и переведённую на русский «гёл» – «помню как-то шёл я ночью по аллеям парка, / чтоб взглянуть в открытое окно», – с оригинальным почему-то припевом – «о-о, о-о, гё-о, о-ол» – и много чего ещё. Большую часть пути вместе с нарядными толпами шли пешком. Перед этим тайком от родителей выпили сначала с «мужиками» в сарае по «пять капель» водки, затем под присмотром родителей у кого-то на квартире с «бабами» по «три глотка» шампанского, и весь путь до откоса ни одна из девчат не хотела верить, что, оказывается, и я тоже восьмой класс окончил. Все как одна, оглядывая мою низкорослую щуплую фигуру и моложавую, без единого прыщика, физиономию с кнопочкой-носом и невинным взглядом младенца, в один голос уверяли: «А на вид – так класс пятый, ну шестой от силы, не больше, правда, девочки?» И тогда я настырно требовал задать мне какую-нибудь задачку по алгебре или теорему по геометрии – «Пифагоровы штаны на все стороны равны», – чтобы доказать им, что и я такой же «большой». Но о каких задачках может идти речь в такой знаменательный день? И потому только, что от «пяти капель» водки и «трёх глотков» шампанского

был я вдребединушку пьян, а стало быть, безумно храбр, со всеми девчатами тут же перезнакомился, а у одной даже выпросил адрес и всё шептал ей, державшей меня с левой стороны под руку: «Я тебе обязательно напишу, вот увидишь!» Была она, как и прежняя, «лагерная», голубоглазой и светловолосой. С другой стороны меня тоже держала под руку девочка, и как-то её тоже звали, и на кого-то из артисток она, «как две капли воды», была похожа, но на кого именно и как зовут, убей, не помню. По правде сказать, и эту заснул бы, кабы не обнаруженный поутру в грудном кармане испачканного каким-то извергом пиджака адрес. Дома меня тоже не узнали. А кто ещё не узнал? Так одноклассницы брата. Собственно, из-за кровавой обиды и уехал. А то, видите ли, вчера в темноте я им намного старше показался! Надо ли добавлять, что именно поэтому никакого письма я так и не написал. И не просто изорвал в мелкие клочки и с яростью кинул на землю, но и затоптал в грязь с таким трудом выпрошенный вчера адрес. «Вы ещё пожалеете!» – едва сдерживая подступающие слёзы обиды, пригрозил я им всем в уме, но, увы, практически до следующих каникул оставался таким же хлюпиком. Это уже потом, по окончании девятого я добровольно, а не из-под палки, займусь бегом, не считая простой гимнастики и полётов во сне, и первого сентября с удивлением обнаружу, что стану почти одинакового роста с самыми рослыми одноклассницами. Тогда же, после восьмого, я ещё тянул лямку пай-мальчика, хотя именно

в ту осень был посвящён в душещипательную историю, которая якобы произошла с Димой, с тем самым другом детства, на картошке, куда тот ездил от своего ПТУ. Суть дела излагалась в стихотворении:

Не могу рассказать,
 что там было в кустах:
Муки, радости, буйное пламя?
Лишь в послушных твоих
 чуть дрожащих губах
Больше не было слышно
 «не надо».

Был шедевр гораздо длиннее, но, думаю, и этого четверостишья достаточно, чтобы войти в курс дела. На мои наводящие вопросы дружок многозначительно ухмылялся, и когда я категорично заявил: «Врёшь!», потащил меня в город, на Ворошиловский посёлок, где в одном из слабоосвещённых бараков жила эта его на всё согласная «зазноба». Но мы её так и не дождались, к кому-то она ушла на день рождения. Второй раз ехать в эти трущобы я не решился, а потом Дима сообщил, что она ему изменила, долго переживал, топиться, слава Богу, не стал и вскоре вместе со мной занялся спортом. До сих пор существуют фотографии, на которых мы в тайне от всех кидаем друг друга на песках.

Почему не в спортзале? Потому что как такового спортзала в нашем посёлке, считавшемся окраиной города и даже деревней, не было. Какое-то время организовали его в старом деревянном клубе, в котором до строительства нового, каменного, мы, ребяташки, смотрели фильмы, сидя или лёжа на полу. И если в старом клубе детские билеты стоили

пятак, а взрослые гривенник, в новом – соответственно, десять и двадцать копеек, и сидеть на полу было неудобно из-за высоты сцены. Да и мест хватало, к тому же особо популярные ленты крутили по нескольку дней подряд в два сеанса. И всё-таки старый клуб мы любили больше. А как удобно было сидеть или лежать, опираясь на локоть, на полу перед низенькой сценой! Особой популярностью пользовались, само собой, «Чапаев», породивший массу анекдотов (Василий Иванович, глядя вслед удаляющейся белой разведке: «Ух, пронесло!» Петька: «И меня – тоже»), «Александр Невский» («Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет»), «Истребители» («Мы парни brave, brave, brave, и чтоб не сглазили подруги нас кудрявые...»), «Небесный тихоход», кинокомедии «Волга-Волга» («Ты «кричи теперь» не кричи теперь, а кричи «совершенно секретно»), «Свинарка и пастух», и завершался репертуар индийскими фильмами, с нудными песнями и девушками с кнопками во лбу, которых никому так ни разу и не удалось поцеловать. Так после открытия нового клуба в старом, пока не снесли, и устроили спортзал. Как таковой секции бокса не было, зато шлемы и перчатки имелись, и нас, малышей, для потехи, как петухов, старшие ребята частенько заставляли биться на сцене до кровавых соплей, тогда как между собой почему-то никогда не дрались, хотя все как один тягали штангу и лупили грушу. Затем спортзал перекочевал в старый магазин, стоявший на стыке главной улицы с тротуаром, ведущим к новому клубу, – убогая одноэтажная засыпушка, куда собирались, к сожа-

лению, не только из спортивных интересов, но чтобы раздавить пару пузырей, перекинуться в картишки, забить козла, пока притон, наконец, не прикрыли и здание не снесли. А вот в школьный спортзал, несмотря на низкие потолки,

собирались уже исключительно из спортивных интересов. В нём же для нас, школьников, устраивали осенние, весенние, новогодние и выпускные вечера в сопровождении настоящего вокально-инструментального ансамбля.

V

Нашим первым классным руководителем была старшая пионервожатая Маргарита Ивановна, с которой мы сдружились, наверное, ещё и потому, что она нам ничего не преподавала, находясь на штатной должности «двигателя революции». Без заметных сучков и задоринок она довела нас до восьмого класса, после чего началась чехарда смены классных руководителей, приведшая в итоге к расхлябанности дисциплины. Сидели уже кто с кем и где хотел, а мы с Ткачёвым, соседом по парте, вопреки господствующему коллективизму, даже додумались до открытой пропаганды обособленности общественных отношений, в пику всему «человечеству» считая себя «индивидуумами», игнорирующими общественные нагрузки – собрания, самодеятельность, сбор металлолома, макулатуры... И доигнорировались. Нас не приняли вместе с классом в комсомол, что означало ни больше ни меньше как закрыть дорогу в высшее учебное заведение. А ещё потому не приняли, что на вопрос, для чего хотим вступить в комсомол, мы с юношеским максимализмом заявили, что не только в комсомол, но и в партию впоследствии намерены проникнуть для достижения исключительно меркантильных целей. («Все, мол, только ради этого и живут, и только прикидываются идейными»). Такого изде-

вательства даже самый рядовой комсомолец не смог бы перенести, так что проникнуть в данную организацию нам удалось только через год, когда мы для видимости исправились и ввиду стопроцентного плана, конечно. И получив необходимые для карьерного роста документы, занялись прежней «подрывной деятельностью», походившей больше на забаву, чем на действия по убеждению. Тогда никто и предположить не мог, во что подобного рода забавы впоследствии выльются. Государственный корабль на всех парусах уверенно шёл в исключительно правильном направлении, никому даже и в голову не приходило, что, оказывается, мы не мчимся, а стоим. По правде сказать, никакого стояния мы не наблюдали. Жажда новизны, как и во все времена юности, конечно, была, но это ничуть не умаляло радости от переживания текущего момента – очередной влюблённости, например, способной, казалось, развеять любой мрак. Да и мрака, собственно, никакого не было. Такими же упоительными были летние, осенние и весенние вечера, так же ослепительно цвели по весне сады, с шумом и гамом гнездились на вершинах тополей вороны и галки, жизнь ни на минуту не прекращала своего головокружительного течения, в которой мы чувствовали себя полноценными участниками торжества.

Следующий этап взросления относится к тому времени, когда в наши ряды влилось пополнение из расформированного 9-го «вэ» класса.

Тот год был особенно драматичным в моей жизни, поскольку благодаря одноклассникам брата и пэтэушной истории друга детства я, наконец, понял, что катастрофически отстаю в безнравственном и физическом развитии от уходящих в мир взрослых ровесников.

И это притом, что ни одна из стрел беспортошного (не я их такими придумал изображать) Амура не пролетала мимо моего сердца. Прежние были ничто по сравнению с теми, что полетели в меня с первого сентября. Очевидно, до этого античный персонаж пристреливался, теперь же разил наверняка.

Начиналось, как правило, с переглядывания. Как бы случайного. Раз глянешь, два глянешь... И вот тебе уже отвечают. Чем чаще, тем чувствительнее. Наконец, доходит до того, что ты боишься лишней раз повернуть голову, потому как стоит повернуть – и Амурашвили (по-грузински – сын Амура) простреливает тебя насквозь.

И всё же считаю, никакой такой первой любви нет, а есть только опыты, предваряющие создание семьи. Наверное, поэтому в каждой новой возлюбленной в первую очередь предполагалась единственная. То же самое у девушек. Во всяком случае, наше поколение в большинстве своём было таким. И я прекрасно помню, как на уроках (пока не сделают замечание), по дороге из школы, в школу, дома о том только и мечтаешь,

что вот, наконец, придёт время, и вы поженитесь. Разумеется, это были самые сокровенные, никому не открываемые мечты. А какую на первых порах они доставляли радость! Такое впечатление, что ты обрёл сокровище! Ни о ком и ни о чём другом ты думать не хочешь и не можешь! Время сладостное, но мучительное.

Я лично начал мучиться ещё до написания записки с просьбой проводить после уроков – предложение вечной дружбы (а в юности всё представляется вечным) должно было быть высказано тэт а тэт и, разумеется, не в первый вечер. Если бы мы учились в первую смену, вряд ли бы я отважился и на записку, и на провожание, ибо идти один на один рядом с девушкой посреди бела дня, да ещё неся в руках два портфеля, да ещё когда ты ниже её на целых три сантиметра, было тогда сильнее самой сильной любви. А вот тёмным осенним вечером, когда никто не видит...

Ещё до написания записки, я знал, что моя избранница живёт за речкой, на улице Весенней, и само название улицы придавало её образу какое-то особенное очарование. И это потому, видимо, что, в отличие от Пушкина, весну я любил больше, чем осень. Как раз из-за того, из-за чего не любил её великий поэт: из-за «томления в крови».

Глядя на фотографии того времени, не могу понять, что привлекло меня к ней. Напряжённо погружаясь во многом уже тёмное пространство памяти, улавливаю озарённый заходящим солнцем овал лица, тревожный взгляд и то душевное волнение, под воздей-

ствием которого даже самое заурядное лицо становится привлекательным. Думаю, гораздо больше в моей влюблённости было фантазии, того, что определяется словом дорисовать. И я, помнится, всё дорисовывал и дорисовывал, придавая всё большее и большее очарование оригиналу. Дошло до того, что однажды, будучи больным, с температурой, не выдержав пытки, притащился на уроки.

Не помню, почему у нас не срослось. Что именно помешало дальнейшему течению катастрофически, во всяком случае для меня, развивающихся событий, помню только, что вскоре я оказался в страдательном положении и что спасла меня от безответной любви музыка. Даже по прошествии стольких лет история с музыкой не кажется мне нелепой. И хотя я заявил, что никакое дело нельзя любить больше женщины, видимо, существуют ещё какие-то особенные флюиды, которые способны потушить даже такое сильное пламя.

Тогда, на очередном занятии в музыкальной школе, я впервые на собственном опыте познал, что такое вдохновение. Гораздо позже я узнаю, что только благодаря ему и существуют все виды искусства, тогда же для меня это было настоящим открытием. Помню, как захватило оно меня, как услышал я внутри себя ни на что не похожую, ни разу не слышанную до этих пор мелодию. Что это было, не знаю, но она так навязчиво звучала во мне, что я наконец решился её записать. Однако сразу после скрипичного ключа завяз на размере (три или четыре четверти – всё не мог определить), наконец решил, определю потом. Происходило это на уроке сольфеджио,

в одном из небольших музыкальных классов, в полуподвальном, без окон помещении огромного городского ДК, тогда как занятия по специальности проходили в светлых комнатах третьего этажа. Мы писали очередной диктант, но я, опустившись на пару линеек ниже, стал торопливо записывать звучавшую во мне мелодию, сверху нотного стана попутно проставляя гармонию – латинское обозначение аккордов, которые тоже прекрасно слышал. Продолжалось это до тех пор, пока подобно грому не разразился надо мной голос преподавателя – неприятной из-за постоянной сухости в лице тридцатилетней женщины: «Это ещё что такое?»

Я инстинктивно захлопнул тетрадь и как обнажавшую заветную тайну улику прижал обеими руками к столу, не хотел из-под своих рук выпускать. Но она всё-таки вытащила тетрадь и, развернув, несколько томительных секунд молча в неё смотрела. Затем глянула на меня, опять в тетрадь и, к моему удивлению, впервые улыбнулась. «Не ожидала, – призналась она. – Только сразу определись с размером. Три четверти, кажется. И последние два аккорда, по-моему, не те. Ну, и впредь желательно заниматься этим вне урока».

Надо ли говорить, что весь оставшийся день был подобным сумасшествию? По обыкновению после занятий в музыкальной я ехал в школу. Ездить приходилось на рейсовом автобусе, около получаса пути, если не задерживал переезд, и минут десять приходилось топтать от остановки. Если же переезд задерживал, я, как правило, немного опаздывал к началу уроков. Поскольку это не

было связано с разгильдяйством, опоздания мои считались уважительными. Вообще всё, что было связано с нашими помимо школы занятиями, принималось с уважением. Так и говорили: а вдруг будущий Чайковский растёт? Поэтому всякий раз, когда после предварительного стука и разрешения войти я появлялся в классе, учитель говорил: «Проходи-проходи. Из музыкальной? Садись на место». В этот раз даже учитель, глянув на меня, спросила: «Не заболел? Вид у тебя какой-то... Ни жара, ни температуры – ничего не чувствуешь? Нет? Ну, проходи...»

И я, пройдя на своё место за первой партой, в течение всех уроков и перемен продолжал лихорадочно писать музыку. И только по дороге домой заметил, что за весь этот день не только ни разу не глянул в «ту» сторону, но даже ни разу не вспомнил о своей несчастной любви. Так началось моё постепенное охлаждение, не сразу, но всё-таки сошедшее на нет.

В романах часто описывают пространные разговоры влюблённых. На мой взгляд, когда любят, совершенно не о чем говорить. Любые разговоры всегда не о том, и либо уводят от чувства, либо тщательно скрывают главную его суть – обоюдное желание. В век нынешней раскрепощённости во многих современных фильмах, например, отбросив слова, герои сразу же приступают к делу – и всё это подробно показывают для назидания непосвящённым. Нашему поколению подобного рода дела представлялись катастрофой. Да что – дела, даже первые поцелуи. Многие из нас до окончания десятого, а некоторые и до самой женитьбы не знали, что это такое. И если когда и доходило до поцелу-

ев, то сорванных непременно нагло, силой, что, как правило, завершалось пощёчиной, оставлявшей после себя чувство оскорблённого достоинства с одной стороны и чувство шпанливой гордости или неискупимой вины с другой.

Большинство из нас тогда считали, что любовь должна быть одной-единственной на всю жизнь. И если у тебя с одной, с другой, с третьей не склеилось, тебя негласно записывали в позорный список коварных изменщиков. Девушки в это число не попадали по причине страдательного положения, поскольку не они, а их оставляли (разлюбливали или разлюбивали?), и опять же выбирали не они, а их, хотя случались, правда, и среди них Татьяны Ларины, а попросту «липучки», с которыми, подобно Евгению Онегину, никто никаких дел иметь не хотел, во всяком случае, в одном классе, в одной школе, в одном дворе, в одном посёлке, где практически все друг друга знали, друг к дружке присмотрелись, друг другу порядком успели надоесть, – но стоило появиться приезжим, вся округа тотчас подымалась на дыбы.

Вспоминаю сестёр-близняшек, молдаванок, поселившихся недалеко от школы. То, что с их появлением началось, нельзя назвать любовью, а какой-то повальной эпидемией. И я под окнами их дома да у крыльца, на котором по вечерам появлялись экзотические сестрицы, вместе с зараженными толпами потолкался. Необычная масть близняшек многих тогда свела с ума. Меня, разумеется, тоже. И отступился потому лишь, что со старшими по возрасту претендентами на этакую невидаль просто не котировался. Кстати, когда пришло время, обе вышли замуж, и не абы за кого, а за самых-самых.

Хорошо помню тот день, когда Саня Никитин, стоя в проёме настёж открытого окна и потряхивая в руке подкинутым нашему новому, четвёртому по счёту, классному руководителю сорвавшим урок анонимным письмом, кричал:

– Последний раз спрашиваю – кто написал?

Его тёмные кудри трепал лёгкий сентябрьский ветерок, голову нимбообразно обрамляло зависшее над крышами одноэтажных домов посёлка вечернее солнце. Урок был сорван в самом начале, когда Янина Александровна, вчерашняя студентка исторического факультета, стройная, подтянутая, быстрой походкой войдя в класс, обратила внимание на свёрнутый вдвое тетрадный лист, на котором крупными печатными буквами было выведено её имя и отчество. «Мне?» Она окинула удивлённым взглядом притихший класс – и класс ответил ей тем же. И тогда, развернув листок, она стала читать. И по мере того, как читала, лицо её каменело.

– Нет, я, конечно, за откровенность, – совершенно неузнаваемым голосом наконец выдавила она, – но чтобы вот так...

И, положив анонимку на стол, демонстративно вышла из класса. Выбежавшая следом Кеша вернулась с известием, что «Янина плачет». Класс загудел. Со всех сторон полетели упрёки и угрозы автору анонимки.

– Уважаемая! – возвысил голос Ткачёв, и его усыпанное веснушками щекастое лицо, как и подобает «индивидууму», приняло надменное выражение (моё за компанию – тоже). – Человечество

желает ознакомиться с содержанием возмутившего их обывательский покой послания.

«Человечество» хотя и выразило незамедлительное согласие, однако же кое-кто и огрызнулся: «Единоличники! Ставят из себя! Идиотизм какой-то!» Простому смертному это могло бы показаться оскорбительным, индивидууму же – никогда, а потому, даже не поведя бровью, вальяжно отвалившись назад и выставив из-под парты ботинки с оббитыми носами, Ткачёв заявил:

– Уважаемая, человечество уполномочивает вашу светлость огласить содержание.

– Я?

– Увы, но человечество вам доверяет.

По оглашении анонимки, возмущение достигло апогея. Все требовали сочинителя, «если только не трус», сейчас же выйти к позорному столбу, то есть к доске, а поскольку никто не выходил, Саня, как самоназначенный председатель следственной комиссии, состоявшей из него одного, вынужден был пойти на крайние меры.

– Ну? – с вызовом повторил он и высунулся в окно.

Класс замер.

Но никто так и не сознался.

И в доказательство того, что не шутит, Саня прыгнул со второго этажа. Мы сразу облепили окно: Саня лежал на боку, обняв руками поджатые под себя ноги и, задрав вверх голову, стонал от боли. Трое ребят сыпанули на улицу, кто-то из девчат хотел бежать в медпункт, но их вовремя остановили – не хватало нам ещё этого скандала, и так мы считались трудным классом.

Содержание написанного печатными буквами письма было следующим:

«Уважаемая Янина Александровна. Ваши жалкие попытки втиснуться в наше доверие, ничего, кроме жалости и снисхождения к вашей ординарной личности, у подавляющего большинства не вызывают, зря стараетесь».

Кто до этого додумался, так и осталось тайной, хотя многие подозревали именно нас, индивидуумов. И это понятно. Наше ироничное отношение ко всему «святому», да ещё так откровенно выпячиваемое наружу, не только бесило, но и удивляло: и откуда это в них? А всё это в нас методично сеял старший Ткачёв. Помните, всё заливал: «К примеру, Солженицын. Из лагерной темы вовремя сумел извлечь пользу». Ничего, кроме делания денег и карьеры, в Солженицыне при этом не предполагалось. То же самое и в Шолохове: «ловко стырил и умело воспользовался». О таланте, о характерах, о широкой панораме романа – ни слова. Вся суть заключалась в том, чтобы ловко стырить и в подходящий момент воспользоваться. И я так и не мог понять, для чего братья регулярно читают «Новый мир». Ни одного номера не пропускали, специально выписывали и читали от корки до корки весь 68-й, 69-й, 70-й, 71-й годы. Чехарда с высылкой Солженицына ими понималась всего лишь как очередной ход в «дамки»: «Он там больше выкружит». Даже для получения Нобелевской премии всего-то и надо было улучшить момент, что-нибудь стырить и умело воспользоваться. Никакой романтики. Никакого намёка на талант. Исключительно во всём

предполагались одни только меркантильные интересы. На фоне идеологической трескотни всё это, разумеется, привлекало к себе внимание. А что ещё нужно для самоутверждения молодому человеку?

И все-таки до анонимки додумались не мы, во всяком случае, не я. И вместе со всеми ходил к Янине на покаяние.

«Яни-ина Александровна, прости-ите нас, пожалуйста. Ну, пожалуйста...»

Уж эти юные сердца! Всего-то и стоило Янине разок всплакнуть, чтобы покорить нас навеки. И когда выяснилось, что «класная» беременна и скоро уйдёт в декретный отпуск, нашему горю не было предела. Пару раз мы даже навещали её в городской квартире. Первый раз она всего лишь вышла к нам на лестничную площадку, поддерживая руками уродливо, по-муравьиному торчавший на её худенькой фигуре живот. Девчата шептались по этому поводу: «У Янины муж – у-у-у...» Второй раз я не поехал, а те, кто ездил, представили фотографию, на которой с ребёнком на руках, в окружении десяти преданных учеников, расстрёпанная, совершенно не похожая на прежнюю стройную классную даму сидела наша Янина.

Опять же о прозвищах. По-моему, только труды вёл Колбасник, оттого что всё время питался варёной колбасой, остальных учителей звали либо по фамилии, либо по имени отчеству, либо по названию предмета, который преподавали – физичка, химичка, географичка, математик... Скабрёзными прозвищами, которые, разумеется, были, как правило, пользовались только хамы.

И всё же самые волнующие события происходили на школьных вечерах. Их почтительно называли балами, и кроме танцев под первый вокально-инструментальный ансамбль, на них ставили сценки, читали душещипательные стихи (в основном Асадова), играли в ручеёк, разыгрывали интеллектуальную лотерею, носили почту – любовные анонимки или подковырки.

Поскольку на взрослые танцы, которые зимой устраивали в местном клубе, а летом на танцплощадке в парке, нас ещё не пускали, первые шаги на танцевальном поприще мы делали на школьных вечерах.

Девушки обычно располагались по правой стене спортзала,

мальчики – по левой. Напротив входа, между дверями в раздевалки – ансамбль: две гитары (ритм, бас), труба и ударник без большого барабана. Двое из музыкантов наши одноклассники-второгодники. Все девушки в них безнадежно влюблены.

Слышу счёт палочек. Созерцаю притихший зал. Исполняют (без пения) «ес ту дэй». Петь по-английски в нашей французской школе ещё стеснялись, да и не умели, и вообще более или менее сносно не скоро научатся петь. Но мы и такой, пусть хоть и примитивной, но всё же самой современной, в сравнении с баяном или аккордеоном, музыке несказанно рады. А как она волнует! Из наших песен поют:

Перчатки снимешь прямо у дверей,
Небрежно бросишь их на подоконник.
«Я так озябла! – скажешь. – Обогрей!»
Ко мне протянешь зябкие ладони.

Или:

У твоего подъезда снегопад,
Ты вся в снегу, боишься простудиться,
А я боюсь случайно ошибиться,
Мне хорошо четвёртый день подряд.

Вот именно – ошибиться! А ну как пригласишь не ту, и вся жизнь – насмарку. Ведь уже до этих вечеров я был бесповоротно влюблён в девочку в пионерском лагере, потом в одноклассницу брата, у которой с таким трудом и клятвами выпросил адрес, но так и не написал, в одноклассницу с улицы Весенней, в молдаванок, а тут перед глазами две шеренги девчат из двух десятых, своего девятого и параллельного «бэ»

класса. Положим, десятиклассницы все как одна тогда казались безнадежными старухами, но девчата из параллельного класса... О-о!.. А в десятом! Какое удовольствие доставляло смущать одною только развязной походкой таких ещё робких, таких ещё пугливых девятиклассниц! Но это, опять же, в десятом, после усиленных спортивных занятий и полётов во сне, а тогда со мной, коротышкой, никто даже и танцевать не хотел.

Нет, положим, какая-нибудь самая несимпатичная и пошла бы, да разве можно, пригласив такую, ошибиться навек? А потому танцевали в основном девушки с девушками, а мы делали вид, что на них внимания не обращаем, по всякому поводу и без повода хватаясь за животы – «ну, умора». Ну, а девушки... А девушки делали вид, что им очень нравится танцевать друг с дружкой, порою даже не позволяя себя разбивать. Мы, помнится, так и говорили: «Пойдём, разобьём вон тех», заранее определяясь, кто с кем танцевать будет. Всё же не так стыдно, когда в одиночку подходишь, а тебе отказывают. А бывало, пригласишь, тебе откажут, и ты, не разбирая, идёшь вдоль шеренги, приглашая всех подряд, а тебе, как назло, все до одной отказывают. Уж это ущемлённое самолюбие! Переступить через него (на виду у всех получить серию отказов) не каждому было по зубам. Поэтому чаще всего не танцевали.

Нет, конечно, были и такие из парней, которые совершенно спокойно подходили и приглашали, но не больше чем на один танец – чтобы избежать подозрений и... случайно не ошибиться. Если же танцевали всё время с одной – это уже была ничего, кроме зависти, не вызывающая, самая настоящая любовь. Танцевать с одной и той же означало ни больше ни меньше как потом на ней жениться. Для иных целей у нас тогда с одной и той же не танцевали. Танцуешь, значит, женись. Ещё и поэтому, наверное, я всё не мог выбрать себе будущую половину. И так до окончания девятого класса.

Начало последних каникул я провёл в трудовом лагере. Нас расселили по каютам второго этажа старой брандвахты. По вечерам мы собирались на верхней крытой палубе. Сидели на лавках и перилах и разговаривали о пустяках. Но после отбоя группами по двое, по трое прокрадывались в каюты девчат и до часу, а то и до двух ночи просиживали на кроватях своих избранниц. Если существуют мысленные поцелуи, такové, конечно, были. Переступить же через эту мысленную черту у меня, во всяком случае, не хватало смелости. В воображении, правда, давно уже доходило и до поцелуев, а стало быть, и до официальных женитьб. Уж эти томительные минуты! На соседних кроватях обойдённые вниманием девчата делают вид, что спят, а на необойдённых мы никак не можем налюбоваться, они – на нас. Моя, как и все остальные, под одеялом, закрывшись до подбородка, жутким, как омут, взглядом влечёт меня к себе. Казалось бы, только склониться и поцеловать, а стыдподлец не допускает. И всякий раз, возвращаясь в каюту, я казню себя за эту нерешительность. Уверяю и даже даю себе слово, что в следующую же ночь обязательно «сотворю беззаконие», но, увы, всё до мельчайших подробностей повторяется вновь. И так до конца смены. Но и дома я не перестаю казнить себя за эту малодушную нерешительность. Преуспевшие в подобных делах ребята уверяют, что девчата не любят нерешительных и что наглость – второе счастье, может быть – и счастье, может быть, только, видно, не для меня.

А в начале августа появилась она. Сашенька. Из Астрахани. Астраханочка, как сразу стали её называть. Да ещё двоюродная сестра одноклассницы.

И вот мы впятером (три девушки и два парня) гуляем по нашей единственной асфальтированной дороге, ведущей через дамбу к кладбищу, — парами ещё стесняемся ходить.

Но гораздо чаще собираемся на брёвнах у сараев. Говорим о фильмах, звёздах, поэтах, справедливости, трусости, предательстве, героизме и ни слова — о любви. Вернее, больше всех говорит Сашенька. Она горой стоит за справедливость, честность, порядочность. Её невозможно переспорить или переубедить. Если она что-то решит, то это уже окончательно и бесповоротно. Она не терпит глупых шуток, пошлых анекдотов, двусмысленности в разговорах: либо — либо, и никак иначе. Её начитанность вызывает у всех уважение, которое она принимает как должное. Во всём и всегда — она зачинщик и командир. И даже я, не только заядлый спорщик, но и несознательный комсомолец, ей во многом подчиняюсь. Во многом, но не в главном. И с жаром говорю, что не понимаю, почему именно «должен» быть честным, принципиальным, непримиримым, верным, целеустремлённым и тому подобное, когда давным-давно никто ни во что не верит.

— А ты?

— Только — в себя!

И тогда начинается. И единичник-то я, и ставлю из себя неизвестно что, и не хочу быть как все, и что не живётся мне спо-

койно, и даже «помяни моё слово, когда-нибудь тебя посадят».

Но я упрямо стою на своём. Сашенька во время спора молчит, хотя к ней постоянно обращаются за поддержкой, но — не безразлична, а словно что-то пытается и никак не может для себя уяснить.

И когда все расходятся, мы на малое время остаёмся вдвоём. Просто сидим и молчим. И молчание это не кажется томительным или неловким. В деревянном коттедже на четырёх хозяев, где живёт Сашенькина бабушка, давно потушен свет, но бабушка не спит и ровно в одиннадцать, выйдя на крыльцо, кликнет внучку домой. В сказочном очаровании тихой августовской ночи дремлют за штакетником обременённые плодами яблони.

Мы сидим на брёвнах и наблюдаем звездопад. Загадываем желания.

— Успел? — всякий раз спрашивает она.

— Да, — отвечаю я. Поскольку желание у меня одно, не успеть невозможно, о нём нетрудно догадаться, но я никогда и никому о нём не скажу.

Сашенька в светленьком платьице, натянутом на поднятые к подбородку колени, в накинутом на плечи моём куцем пиджачке. Я в коротеньких брючках, новые купят только к школе, а пока каждый вечер, прежде чем отправиться на свидание, с помощью марли и стирального порошка я придаю им божеский вид. И, надо сказать, у меня это неплохо получается, но, вот досада, такими они за лето сделались короткими, что даже припущенные на бёдра чуть ли не до самого верха обнажают носки.

Положим, сидеть на брёвнах – ещё куда ни шло, но подойти к честной компании даже при тусклом свете уличного фонаря было равносильно пытке. Скрашивала обстоятельство синяя нейлоновая рубашка. Во всей округе ни у кого такой не было, её не надо было гладить, она не линяла при стирке, а значит, никогда не теряла праздничный вид. Правда, немного холодила по вечерам, но это же такая мелочь для влюблённого человека.

Ни о каких чувствах меж нами не произносится ни слова, даже случайного, и между тем мы оба прекрасно понимаем, что между нами что-то «есть». И это нечто, никогда не называемое, понятно не только нам, но и тем, кто каждый вечер позволяет нам побыть наедине. А если бы не было, разве стали мы, подобно двум истуканам, сидеть на брёвнах, на которых до нас никто и никогда не сидел? Что время – эфемерная величина, я знал и до этого. Знал, например, что оно может тянуться томительно и долго или лететь быстро и незаметно, но ещё не ведома была для меня тоска разлуки, помноженная на не преодолимое обстоятельствами расстояние. Если даже теперь я не знаю, как убить время до вечера, в какую муку превратится оно, будучи помноженным на триста тридцать четыре световых дня. Ночи я всё-таки предполагал спать, чтобы сохранить здоровье для будущего потомства. А будет у нас три мальчика и одна девочка. Три мальчика потому, что один сын – не сын, два сына – полсына, и только три сына – сын. Ну, а про девочек ничего такого не сказано. И потом, их и так по статистике десять на девять ребят.

– Ты действительно считаешь, что теперь никто ни во что не верит?

– Да.

– Для чего тогда жить?

– Да просто.

– Просто... Человек – не животное, он не может жить просто. Человек может жить только ради чего-то?

С этим нельзя не согласиться, но я всё равно не согласен. Говорю, что никакое «чего-то» не может быть дороже моей личной жизни уже потому, что она одна и больше никогда не повторится. Вот если я сам захочу её отдать – другое дело, но почему именно – «должен»?

– Тебе не хватает сознательности... Смотри, ещё одна упала!

– Не поэтому. Просто я никому ничего не должен... А вон – ещё!

Напряжённое молчание нарушает знакомый до последней нотки голос:

– Са-аша-а!

Мы слезаем со штабеля. Сашенька говорит:

– До завтра?.. И всё равно ты неправ.

– Может быть... На том же месте?

– Да... Я в этом почти уверена.

– И я... Спокойной ночи.

* * *

А в один из таких вечеров мы даже совершили подвиг.

Как-то дойдя до окончания дамбы, мы по обыкновению хотели повернуть назад, как вдруг услышали крик о помощи. Подойдя ближе, увидели две машины «такси», в которых шла борьба с одной стороны за обладание, а с другой за нежелание сделаться предметом этого несанкционированного обладания. Иными словами, два таксиста пытались всего лишь на один вечер жениться на

тех, на которых даже под угрозой расстрела ни за что бы не согласились жениться. А это было неправильно. И мы решительно требовали это вопиющее безобразие немедленно прекратить.

– А то вызовем милицию!

Не скрою, нам, мальчикам, было страшно. А ну как вылезут большие дяди, сдёрнут штанишки и нашлёпают по голой попе. Но при девочках мы изо всех сил стараемся казаться Александрями Матросовыми.

Но, к нашему удивлению, с нами даже и спорить не стали – не выскочили, например, с монтажкой, не схватили за грудки, даже на три нехорошие буквы не послали, – а тотчас открыли двери и выпустили «кавказских пленниц» наружу. «Кавказских» – потому, что после одноимённого фильма только «кавказские» не хотели замуж без любви.

Когда же вывалились из салонов «такси» полупьяные, накрашенные до совершенной потери личности, с распущенными волосами этикие бабищи на каблуках, я с удивлением подумал: «Ничего себе!»

«Такси» тотчас развернулись и укатили, а мы целый километр сопровождали несчастных жертв до автобусной остановки. И всю дорогу несчастные жертвы строили из себя оскорблённых невинностей, а мы кристально чистых советских граждан. Ведь форменное же безобразие, ну! Наши девчата были особенно возмущены, а мой напарник, как и я, делающий на ухаживательном поприще первые шаги, шёл ехидненько улыбаясь в сторону, и этой улыбочкой как нельзя лучше было сказано всё – те, с которыми мы дружили, и те, которых якобы спасли, были для нас далеко не одно и то же.

Х

Расставание наше было скорбным. И скорбью, казалось, было пронизано всё вокруг. Подобно заплаканным материнским глазам каждое утро смотрело сверху безликое холодное небо, а цеплявшаяся за кусты и мотавшаяся по ветру паутина почему-то напоминала оборванные телефонные провода. Дома не сиделось оттого, что бездушная кукушка каждые полчаса, с шестерёночным жужжанием распахивая дверцу резного скворечника, методично отсчитывала приближающееся время неумолимой разлуки. Казалась она такой горестной, такой неизбежной, что я даже потихоньку плакал в подушку.

Незадолго до Сашенькиного отъезда мы обменялись адресами. Но до самого последнего дня нашего скорбного прощания я даже и мысли не допускал, что отважусь хотя бы напоследок её поцеловать. Забыл сказать, что, несмотря на мои интенсивные полёты во сне, была Сашенька не только меня выше, но и казалась взрослее (старшая сестра с младшим братом), и я, прекрасно понимая это, старался не встречаться с ней среди бела дня. И весь световой день, пользуясь льготой последних каникул, отсутствием домашних обязанностей, после утренней зарядки слонялся по нашему лесу. Горестные мои думы

были об одном: ну вот что она во мне нашла? И то сомневался в искренности её чувств, то боготворил за несоответствующий её величию выбор. Действительно, было вокруг немало парней и повыше, и постарше, и решительнее, и уж, конечно, симпатичнее меня. Её двоюродная сестра, моя одноклассница, например, во время наших совместных прогулок совершенно открыто сходила с ума по Алену Делону (фильмы с его участием тогда были в ходу). Оказывается, был знаменитый француз не то метр восемьдесят шесть, не то метр девяносто ростом. Иными словами, куда мне до него, а поди ж ты, рискнула Сашенька так опрометчиво ошибиться. Значит, было же во мне что-то такое, чего не видел больше никто. Судя по фотографии – абсолютно ничегошеньки. Но воистину неисследимы глубины сердец девичьих!

Сказать, что это был самый печальный вечер, значит, ничего не сказать. Сначала мы сидели на брёвнах. И, пожалуй, это был единственный вечер, когда мы совершенно не обращали внимания на звездопад. Подперев коленями подбородок, Сашенька задумчиво смотрела перед собой, а я, искоса поглядывая на неё, исходил сладкой печалью, и разве что сознание мужского достоинства не позволяло мне заплакать.

– Год, это не так уж и много, правда? – спрашивала она.

– Конечно, – соглашался я.

И хотя мы оба прекрасно знали, что Сашенькин дед взял бабушку с ребёнком (её матерью) после того, как, вернувшись из плена, узнал, что законная жена, получив известие о «пропавшем без вести» муже, от кого-то понесла,

мы даже и мысли не допускали, что наша любовь может не выдержат испытания временем.

– И давай сразу договоримся: что бы ни случилось, ничего друг от друга не скрывать.

Стало быть, она всё же допускала, что может что-то случиться. Но, опять же, с чьей стороны? Лично я в себе был абсолютно уверен. И когда, наконец, бабушка кликнула её домой, ненадоедливо повторяя одно и то же: «Ну всё, пошла», Сашенька ещё какое-то время трясла мою руку совершенно не идущим к месту, исключительно товарищеским рукопожатием.

Утром она уехала – и мир для меня превратился в пустыню. Я перестал заниматься спортом и целыми днями привидением слонялся по начавшему желтеть лесу. Как такового леса было не так уж много, и довольно часто он прерывался просторами сжатых полей. Когда-то мы ходили сюда кататься на соломе. Заберёшься на высоченный стог, подберёшь под себя охапку соломы и вихрем мчишься вниз, как с зимней горки. Иногда за этим занятием нас заставляли объездчики, и мы едва успевали скрыться от погони в лесу. Теперь за мною никто не гнался, но у меня было такое впечатление, что я от кого-то и куда-то всё время бегу.

Учебный год был ознаменован ожиданием ответа на моё первое письмо любимой девушке. Не лишне упомянуть о муках, которые я принял во время его создания. Даже на уроках чистописания я никогда так не старался вывести каждую букву. Свои чувства я решил выразить не напрямую, а через стихотворение.

списать на юношескую наивность, как-никак, а всё-таки десятый класс. В то время даже в школе к нам относились как к взрослым, которых уже не надо было опекать. Нам позволялось то, чего не позволялось больше никому. Например, свободно проходить через кордон дежурных, сквозь дожидавшуюся у дверей начала уроков толпу учеников младших классов. Дежурные пропускали нас, почтительно отступив назад. Весь год мы чувствовали себя элитой, с которой школе вскоре придётся расстаться навсегда. Двоюродная Сашенькина сестра на этот случай даже где-то откопала песню.

В тихом городе ветер кружится,
Свет в окошках давно погас.
Побеседуй со мной по-дружески,
Дай мне руку, десятый класс.

Здесь, влюблённые,
до рассвета мы
Не смыкали счастливых глаз.
Мы делились с тобой секретами,
Наша юность, десятый класс.

Влюблённым да ещё до рассвета нам гулять тогда ещё не позволяли, но только об этом были наши мечты. И только об этом, хотя бы в иносказательном виде, мне хотелось читать в письмах от любимой девушки.

А вместо этого, читал:

«Если бы ты знал, как я презираю предателей! И не только предателей Родины, но и предателей вообще! В глаза говорят одно, а за глаза другое. Это подло! Этого прощать нельзя! С такими людьми даже здороваться не надо! Таким надо прямо в глаза говорить: «Ты поступил подло! Ты подлый человек! Я тебя презираю!» А иначе ничего и никогда мы не построим.

Мне говорят, что я слишком много на себя беру. А я отвечаю: «Кто-то же должен говорить правду! Не только жить, но и поступать надо всегда по совести!» И вот что я тебе хочу сказать. Я долго думала над твоим индивидуализмом. Я не разделяю твоих взглядов, но я не могу их не уважать, потому что это твоё убеждение. И совершенно согласна с тобой в том, что жизнь отдать или чему-то посвятить можно только по убеждению. Когда нет убеждения, страдает главное. На своём месте я бы только честных и принципиальных учеников в комсомол принимала. И даже во всеуслышание заявила об этом. Зачем порочить ряды, допускать в них карьеристов? От этого страдает главное. Не хочешь быть комсомольцем – не надо. И без тебя обойдёмся. Но ради справедливости не закрывать дорогу в учебные заведения. Пусть учатся и видят, как живут настоящие комсомольцы. А так получается, наприимали кого попало, и они всё дело портят. Кому это нужно? Не разделяешь взглядов – вон из комсомола!»

И в самом конце:

«Прости, опять я о своём. Как ты, как учёба, пишешь ли стихи, что у тебя новенького?»

А новенькое было совершенно из другой оперы. Вместо программных произведений по литературе мы с Ткачёвым, соседом по парте, тайком читали номера «Вестника русского студенческого христианского движения» за 1970 год, добываемые откуда-то его старшим братом-студентом – он, собственно, и заразил младшего всем этим, а тот – меня.

В № 97, например, на третьей странице была помещена фотография жизнерадостно улыбающе-

гося Солженицына с шкиперской бородкой, которому недавно была присуждена Нобелевская премия, а у нас шла травля. И об этом знали все, а вот что присудили не в простой день, как сообщалось во вступительной статье Никиты Струве, а в день памяти преподобного Сергия Радонежского, как и о самом преподобном, я узнал впервые из этого «Вестника». В том же номере я впервые познакомился со стихами Мандельштама. Особенно поразившее меня стихотворение даже переписал, не открывая имени автора, для Сашеньки. Интересно было, что она по этому поводу скажет. Приведу его чуть ниже, а пока выпишу то, что заинтересовало меня. Выписываю только мысли, не называя авторов статей.

«Что наиболее характерно сегодня во внутренней жизни России? Нам думается, начавшееся пробуждение самосознания...

Интеллигенция как на накопавшие: вверху аппарат насилия и лжи, внизу – агрессивная по отношению к культуре и свободе «масса»...

Масса живёт не своим умом, но теми идеями, которые выделяет культурная элита. От её самосознания и её ценностей зависит будущее России...

Главная цель интеллигенции может заключаться только в целостном Возрождении России. Не в реставрации старого порядка, не в простом свержении коммунистического режима, но в истинном освобождении от поработившего нас до самых глубин душ наших зла, в восстановлении духовных начал нации, в воссоздании для неё возможностей быть подлинно христианским народом...

...коммунистическая власть есть не внешняя сила, но органическое порождение русской жизни, средоточие всей скверны русской души, всего греховного нароста русской истории, который нельзя механически отрезать и бросить...

Коммунистические представления о должном и запретном распространились и стали всеобщим нравственным стилем жизни. Ослабление социального пафоса и признание в качестве идеала жизненное благополучие привели к усилению эгоцентризма и разобщению, к резкому росту аморализма и преступности.

... атеистическое государство приводит к созданию сверхсистемы, из которой полностью исключена свобода, не какая-либо из частных свобод: совести, слова, собраний, которые исчезают с момента её возникновения, а свобода как таковая. Личность во всех планах своего общественного проявления попадает в чётко отлаженный и не зависящий от неё механизм чистой необходимости. В нём она даже теряет сознание своей собственной унижительной несвободы, теряет сознание, что она есть только средство для непонятной внечеловеческой цели, слепо осуществляемой общественным механизмом. Этому способствует всеобщая ложь, которая стала нормой существования».

Из всего этого для себя мы с Ткачёвым сделали только один вывод: мы никому ничего не должны, а сами по себе. И понятно ни строчки из этого я не переписал для Сашеньки. А вот стихотворение переписал.

Пустует место. Вечер длится
Твоим отсутствием томим.
Назначенный устам твоим
Напиток на столе дымится.

Так ворожащими шагами
Пустынницы не подойдёшь;
И на стекле не проведёшь
Узора спящими губами;

Напрасно, резвые извивы –
Покуда он ещё дымит –
В пустынном воздухе чертит
Напиток долготерпеливый.

Она ответила, что «ничего из стихотворения твоего не поняла. Неужели сам сочинил? Для чего так туманно выражаешься? Первое было и проще и понятнее. Подозреваю, что ты просто попал под чужое влияние. Бери пример с Пушкина. У него всё просто и понятно».

Но Пушкина я тоже не уважал. И всё по той же индивидуалистической причине. Но написать об этом прямо не решился. Написал лишь, что «если бы поэзия исчерпывалась одним Пушкиным, скучно было бы жить». На что получил громоподобный ответ: «Да как ты можешь так говорить о Пушкине! Это же – Пушкин! Кто-то из великих даже сказал, что Пушкин – наше всё! Всё! Понимаешь?» Но я отказывался это понимать. Как это – всё? А я? А мой сосед по парте? А другие что, ничего не значат? По Сашенькиному мнению выходило, что «значат, но куда меньше, чем Пушкин». И этим меня ещё больше оскорбила.

Вторая мировая война началась из-за деда Щукаря. Как раз мы «Поднятую целину» проходили. И я выразил мысль, что самый умный из всей шолоховской книги – дед Щукарь, что Нагульнов – просто дурак, Размётнов – типичный приспособленец, а Давыдов – кроме всего прочего, ещё и подлец. «Это надо до такого докатиться – с женой друга переспать!»

Ответ пришёл аж на пяти страницах. Переписывать не буду, потому что ничего нового для себя не открыл. Почти слово в слово из программных сочинений по литературе: «Направляющая и руководящая роль партии в романе Шолохова «Поднятая целина». Тьфу!

В ответном послании, понятно, я выразился более обтекаемо, для большей убедительности приведу слова тёти Таи, разумеется, не назвав её имени, что в кулаки самые работающие угождали, а раскулачиванием занимались дебилы, вроде Нагульнова, и ничего в крестьянском деле не понимающая заводская шпана, вроде Давыдова.

В ответ пришло: «Расстреливать за такие слова мало! Так своей знакомой и передай!»

Разумеется, я не передал. Ещё чего не хватало! Может, ещё и отца с матерью заодно расстрелять? Они с тётушкой были одного мнения. Ну, и меня в придачу – я тоже их мнение разделял.

Третья мировая началась из-за фашизма. Вернее из-за того, что я сталинские порядки посмел с гитлеровскими сравнить. Мысль эту я выловил из того же «Вестника». Не вот напрямую: «коммунизм и фашизм – одно», а что-де очень похожие системы Сталин с Гитлером создали. И хотя на личность Ленина я не покушался, иначе бы уже не обыкновенная, а атомная война началась, всё равно вызвал очередное цунами.

«Неужели ты не понимаешь, что на незыблемость самого справедливого на земле строя замахнулся?!»

А я никак не мог понять, причём тут строй, когда речь идёт о несправедливости в общечеловеческом масштабе?

Молчание длилось чуть не месяц. И я даже подумал, уж не попала ли под чью-нибудь оккупацию Астрахань и нам об этом, как о начале войны с Германией, из политических соображений не сообщают? Но нет, пришло-таки послание.

«Я долго думала и пришла к выводу, что ничего хорошего из нашей переписки не получится. Я не понимаю, или ты специально надо мной издеваешься, или ты на самом деле такой. У меня даже в мыслях не укладывается, как можно с такими взглядами жить! Это же просто аморально! Неужели ты этого не понимаешь? Или меняй свои взгляды, или я прекращаю с тобой все отношения!»

И вот я думаю, как быть.

Сижую порою по часу за письменным столом – и то уроню, то опять поставлю перед собой Сашенькину фотографию. Размышляю: «И почему красивые такие упёртые?» Было такое впечатление, что в груди у Сашеньки не простое, а железобетонное сердце. Из-за чего, собственно, прекращать отношения? Из-за каких-то слов? Мало ли кто и чего скажет! И из-за этого крушить любовь? А может, она меня и не любит вовсе? Может, она просто шефство надо мной взяла, а как увидела, что ничего путного не получается, так и пинка под зад? Вон, даже расстреливать собралась! Интересно, а расстреляла бы? И я пришёл к выводу, что во времена ЧК – шлёпнула бы, глазом не моргнув. И решил откровенно написать ей об этом.

Думаете, четвёртая мировая началась?

Я тоже так думал. А в ответ пришло: «Не говори глупостей! И причём тут – любовь? Любовь не

из одних чувств состоит! Если бы из одних только чувств состояла, чем бы мы отличались от животных?» И вправду – ничем. И всё-таки я стоял за независимость во взглядах. Можно, писал, и не спорить. Живут же люди в одной семье с совершенно разными взглядами. Хотя бы в нашей семье. Отец, например, считал, если у государства не украдёшь, то и не проживёшь, и со спокойной совестью вставлял плёнку в счётчик, а мама его за это всё время осуждала, но плёнку не вынимала. Даже когда он говорил: «Не нравится – вытащи». А она ему: «Сам вставлял – сам и вынимай. Ещё не хватало, чтобы я этим занималась». И по другим поводам они радикально расходились. Например, отцу из-за порядка, из-за снижения цен на продукты, из-за дешёвой водки нравился Сталин, а маме из-за простонародной справедливости – Ленин. И что им теперь – разводиться? Это даже и обсуждению не подлежит. Вот если бы отец за кем-нибудь приударил – тогда понятно. Но из-за партийности и антипартийности – это же просто смешно. И я в мягких чертах написал об этом. Тем более, Сашенька сама уверяла, что уважает мои взгляды.

Молчание на этот раз длилось больше месяца. А потом пришло: «Да, я это писала. Но я же не знала, что ты додумаешься до такого. Всему же есть предел. А у тебя его, похоже, нет. И что теперь – всю жизнь ругаться? И потом, мама твоя не секретарь комсомола, не секретарь партийной организации. А посмотрела бы я на неё, когда бы она хотя бы на моём месте один день побывала. И потом, кому много дано, с того спросу больше. И когда столько хамства вокруг, хочет-

ся, чтобы хотя бы близкие люди тебя понимали и поддерживали. А они наоборот – только предают».

И всё равно я не мог лечь под её убеждения.

И вот опять сижу, производя экзекуции с фотографией. Всё никак не могу решить, что со всем этим делать?

* * *

И тут как нарочно подвернулся Новогодний бал.

Поскольку о нашем романе не только в классе, но и по всей школе ходили слухи («Аж из самой Астрахани подцепил!»), если б кого и рискнул пригласить на танец, был бы неправильно понят, но белый танец снимал с меня все подозрения.

И вот хотите – верьте, хотите – нет, но как в песне, «красивая и смелая» взяла и всей школе назло «дорогу-то и перешла». Иначе, на виду у директора школы, классных руководителей, секретаря комсомольской организации и целых четырёх классов прошла через весь зал и пригласила меня на белый танец.

И после этого я виноват?

Положим, от такого везения я чуть не спятил! То прикоснуться к слабому полу не смел, а тут... Ну, и понеслось, поехало... Тебя как звать?.. А тебя?.. Ты из какого класса? Что-то я тебя раньше не видел... Видно, не в ту сторону смотрел... И всё в таком роде.

Оказалась из девятого класса, с гордо вздёрнутой головкой, светленькая, в коротенькой юбочке, на каблукках. А глаза – просто синь поднебесная! Утонуть можно! Что со мною, собственно, и произошло. До того аж, что только с ней одной до конца вечера и танцевал – кроме быстрых танцев, разумеется. А потом пошёл провожать.

Таковыми глазами Кеша на меня ещё никогда не смотрела! Даже мороз по коже пробежал! Но я уже катился под гору – не остановить. Тем более оказалось, что синеокой я уже давно приглянулся, да «ты всё не знай на кого смотришь». Я не стал уточнять, почему ни на кого внимания не обращал. Не знает – и ладно, глядишь, за первую любовь сойдёт. Ведь четыре раза уже до этого влюблялся – позор!

Но самое главное – мы с ней даже поцеловались! Как-то так, не пойми как, ткнулись сначала носами, а затем зубами – и друг над дружкой расхохотались.

– Ладно, – сказала, – пойду, а то мама сейчас выбежит. Видишь, занавеска шевельнулась? Ну что, спасибо, что проводил, а то я такая трусиха!

Ну а мне бояться темноты по статусу индивидуума не полагалось. И хотя идти было далеко, почти от конца соседнего посёлка, я преодолел расстояние как во сне. И когда проснулся дома, в первую очередь достал Сашенькину фотографию и спросил:

– Что, дождалась?

И даже показалось, не такая уж она красивая. Лишь бы, думал, обман с рук сошёл, поскольку синеокою пришлось заверить, что до неё ни с кем я не дружил. Думал, проедет, а не тут-то было. Сразу же после новогодних каникул всё стало известно. В том числе и Сашеньке.

Таким образом, я оказался между двух огней.

Как из такого положения выкрутился?

Куда теперь деваться? Расскажу.

Сначала произошла война с синеокой. На этот раз – настоящая. За такой наглый обман она

дала мне, слава Богу, не при всех пощёчину. Потом пришло письмо от оппозиции.

«Я так и думала, что такие, как ты, ещё и не на такое способны! И тебе не стыдно? А ещё – индивидуум!»

Что на это ответил?

А ничего. Ещё не хватало индивидууму оправдываться. И до конца года, всем женским контингентом школы презираемый, наслаждался совершенным одиночеством.

XI

А к началу выпускных экзаменов неожиданно зацвёл заброшенный сад. Старые яблони, всю зиму неприятно поражавшие корявым уродством, до неузнаваемости преобразились. На них больно и радостно было смотреть. Такими же ослепительно снежными в дни выпускных экзаменов казались фартуки и бантики одноклассниц.

Но ещё до начала экзаменов, в день последнего школьного звонка, в доме Сидика Умарова наши родители позволили нам устроить первое праздничное застолье с вином. Чем окончилось застолье – припоминаю смутно, зато хорошо помню начало. Не понимаю, для чего надо было вино, когда мы и так были до нервного озноба возбуждены. Разумеется, были тосты, и все как один жизнеутверждающие. И таким плёвым после выпитого вина представлялось покорение предлежащих вершин. Не помню, о чём именно говорили, но говорили так громко, и главное, все сразу, что совершенно ничего невозможно было понять, и тем не менее все прекрасно друг друга понимали. Затем всё как бы стало отходить в сказочную нереальность и, наконец, совершенно потухло в памяти.

А вот выпускной вечер высвечивается от начала до конца. После торжественного вручения

аттестатов мы вышли на улицу, чтобы сфотографироваться с учителями в последний раз, а потом для нас в спортзале запустили бал, так сказать, «на сухую». Но, прекрасно зная об этом, мы заранее сложились с ребятами и, улучив момент, сбегали к тому же Сидику Умарову. На этот раз всё происходило неспрашно, впопыхах, в сарае. Быстренько разлили, выпили, что же касается закуски, всю обратную дорогу до школы усиленно жевали дольки резиновой конской колбасы. Насилу, помнится, её проглотил. Задержавшись ещё на малое время за оградой сада, как взрослые, покурили «в себя» и, когда нас окончательно развезло, с ощущением разлившейся по душе удали бурно влились в хаотично танцующий зал. Сразу же ринулись девичьи пары разбивать и никаких отказов уже принимать не хотели. Потом бежали добавлять ещё, и кто-то даже отключился, а затем всем классом потащились на станцию железной дороги, чтобы ехать на Нижегородский откос.

Ехали на последней электричке. По прибытии на Московский вокзал узнали, что канавинский мост, оказывается, для движения транспорта на всю ночь закрыт на ремонт. И уже ничего не оставалось, как только двинуть пешком, а идти надо было в верхнюю часть

города сначала вдоль набережной, в сторону протянутой чугунным идиолом руки, затем через вспыхивающий ослепительными «зайчиками» сварки тёмный мост, потом вдоль трамвайных путей, мимо нарядной Строгановской церкви, по тогдашней Маяковке, а ныне опять Рождественке, заключённой в плотную стену старинных многоэтажных домов, с выходящими на улицу витринами ювелирного, радиолюбительского, спортивного магазинов, входами в аптеку, оптику, предварительную каску железной дороги и даже театр Комедии. Завершало шествие стеклянное кафе «Скоба», за ним, на той стороне Почаинского съезда, на площади у разрушенного Предтеченского храма, когда-то было положено начало судьбоносному ополчению на Москву. Начинаясь от северной стены разрушенного храма узенькая улочка довела до нижнего входа в краснокирпичные стены Нижегородского кремля.

И когда наконец через обширную кремлёвскую территорию, преодолев крутой затяжной подъём, мы поднялись на площадь Минина, меня поразило огромное количество собравшихся у памятника Чкалову празднично разодетых выпускников. Помимо стоявшего говорильного гула, в воздухе ощущалось тревожное возбуждение, какое бывает в театре перед началом представления. Чтобы не потеряться в толпе, мы инстинктивно сбились в кучку. И я с жадным любопытством всё вглядывался и вглядывался в незнакомые лица. Не знаю, почему, но все они казались мне совершенно от нас, пригородных, отличными. Было в их поведении больше раскрепощённости, что ли. И в то время,

когда в одном месте что-то пели под гитару, в другом заразительно смеялись или дружно хлопали в ладоши. Кто-то, придерживаемый за руку, ходил по брустверу смотровой площадки за спиной подсвеченного прожекторами Чкалова. Кого-то качали.

До восхода было ещё далеко, и другой берег реки едва угадывался в тёмном провале, а вот ближний, к которому спускалась широкая каменная лестница, был обозначен гирляндой уличных фонарей. Площадь Минина поражала призрачной пустынностью. Два института (медицинский и педагогический), которые кому-то из собравшихся предстояло покорять, находились на ней. Тогдашняя Свердловка, а ныне опять Большая Покровка, проглядывалась насквозь, но второго кумира, давшего название тогдашнему городу, не было видно. Вдоль могучей кремлёвской стены шелестели на ветру старые липы.

На откосе, обыкновенно, дождались рассвета. И когда наконец зацвело васильковым разливом небо и обозначился подёрнутый чешуёй величественный речной простор, сначала повисло безмолвие, даже дыхнуть было страшно, а потом кто-то крикнул: «Солнце встаёт!», и воздух мгновенно прорезало победоносно торжественное ура. Минут пять, если не больше, все только и делали, что кричали, свистели, прыгали, кружились, толкались, хлопали стоявших рядом по плечу, гонялись друг за дружкой вокруг толпы.

И когда окончательно занялось удивительно погожее утро, стали потихоньку расходиться: кто по лестнице к набережной, кто по площади к остановкам, а мы, войдя через Дмитриевскую башню

в стены Кремля, тою же дорогой спустились вниз. Сфотографировались на скамейке. И, наконец добравшись пешком до вокзала, едва стоявшие на ногах от бессонной ночи на первой электричке уехали домой.

По дороге от станции Кеша сказала мне с укором:

– Эх ты, такую девчонку упустил!

Но я не расплакался.

Что касается дальнейшей учёбы, так получилось, что в тот год только двое из ребят нашего класса поступили в институты, а нам, неудачникам, кому этой осенью, а кому следующей весной предстояла армия, службу в которой я воспринимал не как священный долг, а как роковую неизбежность. Меня призвали весной.

Армия – школа суровая, но речь не о ней, хотя отслужил я от звонка до звонка два года и, когда вернулся, в один из первых субботних вечеров, будучи во хмелю не столько от вина, сколько от избытка жизненных сил, наступившей свободы, невообразимо чудесной весны, шёл на танцы. Было темно, улица лишь местами освещена. И я бы прошёл мимо, обратив внимания, кабы не окликнули.

Сашенька стояла у обочины. На этот раз она оказалась ниже меня ростом. Но главное не в этом, а в том, что она была одна. И, догадавшись почему, я тут же полез обниматься.

Но Сашенька решительно уклонилась от объятий, сказав то, что я не забуду во всю свою жизнь.

– Не думала, что ты станешь таким.

– Каким?

– Ничтожеством.

Меня словно ошпарили кипятком. Поднялось было в груди: «Что же ты в такую даль из-за такого ничтожества притащилась?» И даже чуть было не брякнул, но вовремя сдержался и, небрежно кинув: «Пардон!», – пошел своей дорогой, казалось бы, как и прежде, свободный как ветер.

Однако «ничтожество» засело занозой. И уже не отпускало.

Это я-то ничтожество?

А Сашенькин голос упрямо твердил:

«А кто же? Ничтожество и есть!»

В конце лета Кеша, захлёбываясь от радости, возвестила, что Сашенька вышла замуж аж «за потомка немецких баронов».

Зачем, спрашивается, приезжала тогда?

Хотя что же тут непонятного?

«Первая любовь, школьные года, в лужах голубых стекляшки льда...»

И даже несмотря на это, я оказался хуже какого-то немецкого барона, можно сказать, почти что фашиста.

Смешно?

Но это положило начало моей взрослой жизни.

